В. А. Викторович

ДОСТОЕВСКИЙ. ВОПРОС О НАРОДЕ[1]

Познание народа и программа воссоединения с ним образованного сословия стали фундаментальной основой всего творчества Достоевского. В статье рассматриваются некоторые этапы становления «народоведения» писателя и его отзвуки в русской истории и культуре.

Ключевые слова: Достоевский, русский народ, эволюция мировоззрения писателя.

В «Дневнике писателя» 1876 года Достоевский утверждает: «Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается всё наше будущее» (22, 44). Это, конечно, говорит публицист, но я думаю, что и художник Достоевский живет под знаком этого вопроса. Для него народ, очевидно, не миф и даже не архетип. Это плоть и кровь его творчества. Народным является всё миросозерцание Достоевского, а не только отдельные мотивы и образы.

Слагалось это миросозерцание не столько через теоретические штудии (чтение трудов историков, этнографов, фольклористов, писателей и т. д.), сколько опытами самой жизни. Первые из них приходятся на деревенское детство в Даровом. Особенность мелкопоместного быта состояла в тесной близости его с повседневной жизнью крестьян. Этому, судя по всему, способствовал открытый и участливый характер матери писателя, хозяйки имения. По признанию Достоевского, деревня оставила в нем «самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь» (25; 172). Черты народного миросозерцания впитались в духовный состав его личности. Близко знавший его современник свидетельствует: в деревне Достоевский «пробыл лучшие годы своего детства. В эти-то годы он был ближе к крестьянам, их быту и всему нравственному облику русского народа, чем не только интеллигентные и либеральные столичные

[1] *Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-012-90038 «Даровое Достоевского: документальные источники, биография, творчество».*

бюрократы, никогда не бывавшие в деревне в свои детские и юношеские годы, но даже, может быть, и многие из зажиточных столичных столбовых русских дворян, например, граф Алексей Толстой, граф Соллогуб и даже Тургенев (последний ближе познакомился с деревнею уже в более поздний период своей жизни, во время своих охотничьих экскурсий), которых родители намеренно держали вдали от всякого общения с крестьянами. Стоит вспомнить показания Андрея Михайловича Достоевского о детстве его брата, слышанное нами сознание самого Ф. М. Достоевского о том, что деревня оставила на всю его жизнь неизгладимые впечатления, и его собственные рассказы о крестьянине Марее и страстные сообщения на вечерах Петрашевского о том, что делают помещики со своими крестьянами, его идеалистическое отношение к освобождению крестьян с землею и, наконец, его глубокую веру в русский народ, разумея под таковым сельское население – крестьян, чтобы убедиться в том, что Ф. М. Достоевский был *сыном деревни,* а не города»[2]. Интересно, что другой современник, знавший Достоевского в более поздний период его жизни, подчеркивал в его облике «простонародные черты лица»[3].

Другим опытом жизни, определившим духовный облик писателя, стала каторга. Пять летних вакаций в Даровом и четыре года в омском остроге обнаруживают некую глубинную связь. «Я узнал практически, – писал Достоевский Майкову 18 января 1856 года о своем каторжном опыте, – и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем» (28_1; 209). Чуть раньше, только что выйдя из каторги в письме к брату: «Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, как, может быть, не многие знают его» (28_1; 209). Он пережил возврат к народному корню, проросшему в нем еще в детстве, что и показал в «Записках из Мертвого дома». Остановимся чуть

[2] Семенов-Тян-Шанский П. П. Из «Мемуаров» //Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 299.
[3] Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 377.

подробнее на этом ключевом произведении писателя, да и всей русской литературы.

Нестерпимая каторжная мука, как пишет Достоевский, – «вынужденное общее сожительство», вид несвободы. Эта вынужденность усложнялась тем, что Достоевский был дворянин, и на одних с ним нарах оказались простые мужики, народ, который враждебно относился к «барам», чужакам. Достоевский на собственном опыте открывает «глубочайшую бездну», разделившую народ и образованное сословие. Он пишет по этому поводу: «Как ни будь он [дворянин] справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой; его не поймут, а главное – не поверят ему. <…> Не свой человек, да и только» (4; 198).

Автор по этому поводу предлагает полуметафору запаха: мужик по запаху может отличить своего от чужого. У разъединения сословий были глубокие исторические корни, оно окончательно оформилось при Петре I. Полвека спустя, накануне революционной катастрофы, Блок с болью будет говорить о вражде народа к интеллигенции. Эту копившуюся ненависть Достоевский ощутил на собственной шкуре.

Русская литература XIX века едва ли не главной целью поставила соединить разошедшиеся половинки, прежде всего путем познания своего народа. У Пушкина и Лермонтова Достоевский обнаруживает еще пока не утраченную способность органически сродниться с народным сознанием. «Пушкин любил всё, что любит этот народ, чтил всё, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был <…> человек, сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его» (26; 116). Достоевский особенно ценил такие «перевоплощения», как стихотворение Пушкина «Сват Иван, как пить мы станем», «Песня про купца Калашникова» Лермонтова. К тому же Пушкин взялся *изнутри* исследовать феномен пугачевщины, угадав надвигавшуюся национальную катастрофу.

Начиная с Гоголя («Тарас Бульба», «Мертвые души») русская литература заняла позицию внимательного и сочувственного наблюдателя народной жизни. По этому пути затем пошли Тургенев («Записки охотника», «Постоялый двор», «Муму»), Григорович («Деревня», «Антон-Горемыка»), Писемский («Плотничья артель»), Лев Толстой («Утро помещика», военные рассказы, «Севастопольские рассказы», «Казаки», «мысль народная» в романах), Салтыков-Щедрин (народные главы в «Губернских очерках»). Это были зоркие наблюдатели, однако все-таки со стороны, на что обратил внимание Достоевский в набросках 1870 года: «Их изучения, хоть и точные (Лев Толстой, Тургенев), как бы чуждую жизнь открывают. Один Пушкин настоящий русский» (9; 138). Перевоплощение же на манер пушкинско-лермонтовского нашло свое продолжение в поэзии Некрасова, где порою без посредничества зазвучали народные голоса. Можно вспомнить Лескова, который вот эту стихию народной жизни, ее смех и горе и ее праведничество передавал в сказовых стилизациях. Разными путями, но вся русская литература XIX века была своеобразным хождением в народ. Русские писатели открывали свой собственный народ, как Колумб Америку. Совершенно особую роль в этом процессе сыграли «Записки из Мертвого дома», потому что здесь не совсем уж сторонний наблюдатель, здесь человек, который волею дальновидной судьбы оказался заброшенным в самую гущу народной среды, на себе испытал ее законы и близко услышал ее голоса. Одно дело – со своей колокольни наблюдать народную жизнь, а другое – оказаться, хотя бы на время, внутри нее. Этот переход границы произвел потрясающий эффект.

Обратимся к исключительной силы эго-документу, созданному Достоевским буквально через неделю после выхода с каторги. Это письмо к брату 30 января – 22 февраля 1854 года, своеобразный конспект будущей книги, которая напишется через пять лет. Вот что он здесь говорит: «Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуди, велика ли была

защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностию всевозможных оскорблений. “Вы дворяне, железные носы, нас заклевали…” [эта фраза потом перейдет и в книгу] – вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонностию их воле» (28_1; 169–170). Бывшему петрашевцу открылась истина, когда-то потрясшая Пушкина в картине бунта 1831 года, нарисованной в письме к нему очевидца, Н. М. Коншина: «Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают вашим высокоблагородием и бьют дубинами, — и это всё вместе»[4].

По признанию Достоевского, тяжело переносились им унизительные для цивилизованного человека бытовые условия, которые создавались не только начальством. Они создавались и самими простолюдинами, привыкшими жить в таковых условиях. «Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, “живой человек”. <…> Прибавь ко всем этим приятностям <…> вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам…» (28_1; 170–171).

Вот испытания, которые могли сломить, и ломались люди интеллигентные, дворяне, для которых даже чисто бытовые, а не только нравственные испытания, были чрезвычайные. Но в этом же письме мы находим, в конце, поразительные на этом фоне строки о том, что «люди везде люди. И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото» (28_1; 172).

Это открытие «золота, золота, сердца народного» (пользуясь уже формулой Некрасова) стало для послекаторжного Достоевского определенной программой.

[4] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 14. М.; Л., 1941. С. 216.

Она получила тогда название «почвы». Кстати, именно основоположник почвенничества А. А. Григорьев первый заметил, что Достоевский выделяется среди плеяды писателей-народолюбцев: он «достиг страдательным психологическим процессом до того, что в “Мертвом доме” слился совсем с народом» и поставил его рядом с Пушкиным[5]. Достоевский также разрабатывал теоретические основы почвенничества в качестве публициста начала 1860-х годов, но в «Записках из Мертвого дома» мы можем видеть тот путь души, который он проделал не только идеологически, не только в воображении, но всецело жизненным процессом. Например, вот он для себя решает, как надо держаться с ненавидящей его толпой каторжников. Процитирую: «…я решил, что надо держать себя как можно проще и независимее <…>. Отнюдь не сближаться с ними на некоторых известных пунктах и не давать потачки некоторым их привычкам и обычаям, одним словом – не напрашиваться самому на полное их товарищество. <…> они первые презирали бы меня за это» (4; 76). От него как от дворянина все ожидали, что он будет брезговать, ломаться, «белоручничать». И, уверяет повествователь, наверняка его бы даже за это уважали.

Но, продолжает он, «такая роль была не по мне; я никогда не бывал дворянином по их понятиям; но зато я дал себе слово никакой уступкой не унижать перед ними ни образования моего, ни образа мыслей моих» (4; 77). В этих словах Горянчикова зреет почвенническая идея соединения образованного сословия с народом, когда, как потом скажет Достоевский, надо принять идеалы народа, но при этом не надо жертвовать тем, что у нас есть – образованием, образом мысли, здесь должно быть какое-то взаимное понимание.

Горянчиков продолжает: «…я наверно знал, что потом они принуждены будут переменить обо мне свое мнение» (4; 77). Вот школа практической идентификации себя как части народа, которую прошел Достоевский. В цитированном выше письме А. Н. Майкову 18 января 1856 года мы находим уже

[5] Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967. С. 483.

выношенную, выстраданную позицию: «Уверяю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, – это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его; ибо был сам русским. Несчастие мое дало мне многое узнать практически, <…> я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу» (28_1; 208–209).

Обратимся к описанию этого самого народа, к которому такую трудную дорогу пробивает автор «Записок из Мертвого дома». Что бросается в глаза? Некоторые, скажем так, не очень приятные качества. Это «тщеславие и заносчивость, свойственные почти всем арестантам без исключения» (4; 48): «Покуражиться арестант ужасно любит, то есть представиться пред товарищами и уверить даже себя *хоть на время*, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется <…>: вот отчего, может быть, в арестантах, даже и в трезвом виде, замечается всеобщая наклонность к куражу, к хвастовству, к комическому и наивнейшему возвеличению собственной личности, хотя бы призрачному» (4; 66). Желание потщеславиться, приподнять себя, доказать в чем-то (неважно, в чем) свое первенство… Эти страстишки и до сих пор волнуют мужские компании, а на каторге желание заявить свою личность доходило, как говорит автор, до некоторого даже буйства, «до омрачения рассудка, до припадка, до судорог» (4; 67).

По существу, Достоевский описывает некий психологический механизм болезненного самоутверждения личности, когда человек, как он говорит, даже пьянеет и доходит до судорог. Перед нами, по существу, открываются антропологические корни пугачевщины. «Положим, он мужик, дворовый человек, мещанин, солдат. Вдруг у него что-нибудь сорвалось; он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. <…> перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и

власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой…» (4; 87–88).

Рассказывается в «Мертвом доме» история Лучки, который пырнул ножом начальника за то, что тот над ним немножечко так покуражился, и по этому поводу автор замечает: «…вообще раздражает нижний чин всякая свысока небрежность, всякая брезгливость в обращении с ними. <…> Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, хоть и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству. <…> Боже мой! да *человеческое* обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнул образ Божий» (4; 91). Общий сюжет «Записок из Мертвого дома» объединяет очень разные истории. Перед нами разворачивается калейдоскоп жизненных катастроф, в которых выявляются основные типы народных характеров, и все они объединяются неким метасюжетом познания. Это повествователь пытается понять собравшуюся компанию, что не сразу ему дается.

В книге постоянно говорится о трудностях познания, а уж первый, самый запомнившийся год проживания на каторге был во всех смыслах самый тяжелый. «В этот первый год от этой тоски, – говорит Горянчиков, – я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, людей способных и мыслить и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова» (4; 178–179). На эволюции своих представлений о каторжном народе повествователь особенно настаивает: «я потом изменился в моем взгляде», «если б мог только знать тогда», «между враждебным я тогда не угадывал отрадное» и так далее.

Открытие образа Божия в столь ненавистных товарищах происходит, во-первых, через тех действительно светлых людей, которых неожиданно здесь встречает повествователь. Это дагестанец Алей, это Баклушин, это те люди, которые обращают к нему приветливое, ласковое слово, которые сочувствуют

ему, но он, во всяком случае в первый год своего существования на каторге, этих людей не очень-то хочет замечать.

Настоящее открытие, переворот в познании народной массы происходит ровно в центре книги, в 11-й главе, которая называется «Представление» и рассказывает об острожном театре, когда каторжники во время Рождества разыгрывают, с позволения начальства, некоторые комические сцены. Эпизоду с театром предшествует описание, как каторжники готовятся к разговению, к церковной службе (которая, к слову сказать, возвращает автора к воспоминаниям деревенского детства), между ними царит удивительное согласие и мир, но к концу дня всё вновь возвращается на круги своя, к привычной пьяной сваре. Но вот через несколько дней открывается самодельный театр, который поражает воображение рассказчика. «Можно было даже удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать: сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и в тяжкой доле!» (4; 128). А ведь это те же самые, недавно столь презираемые им каторжники.

На экваторе книги происходит нечто и с самими каторжниками: их театр что-то сделал с ними, поэтому, когда они расходятся после представления, споров и обычных свар не слышно, они вдруг кончаются, на какое-то время, конечно. Это открытие дальше ведет автора к более глубокому пониманию субстанции «русский народ» «В остроге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про него, что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманье и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются…» (4; 197–198).

В 1870-е годы, возвращаясь к этой теме, Достоевский в записной тетради отметил: «Разбойник многому меня научил» (24; 106). Стоит хотя бы перечислить некоторые штрихи национального характера, замеченные тогда Достоевским. Русский народ – «небрезглив и негадлив даже до крайности». Грязь в казарме,

тараканы в щах и так далее – ко всему каторжники относятся с философским равнодушием. Русский человек не осуждает пьянства, напротив, пьяницы даже как-то ему симпатичны, он всегда готов им сочувствовать и соболезновать. Он умеет переносить боль: очень много таких эпизодов, особенно связанных с телесными наказаниями. Поразительно его терпение. Русский народ «готов забыть целые муки за одно ласковое слово». И в то же время: «В русском характере столько положительности и трезвости взгляда, столько внутренней насмешки над первым собою… Может быть, от этого постоянного затаенного недовольства собою и было столько нетерпеливости у этих людей в повседневных отношениях друг с другом, столько непримиримости и насмешки друг над другом» (4; 196).

Наряду с этими штрихами следует назвать главнейший, который как раз проявляется в эпизоде с театром. Там есть такая ситуация. В казарму («театр») набивается множество людей, все хотят видеть представление, но когда приводят повествователя-дворянина, ему уступают лучшее место перед самой сценой: «Они признавали, что в этом я могу судить лучше их». В таком признании прав образованности и компетентности не было никакого принижения себя, напротив. «Высшая, – пишет Достоевский, – и самая резкая характеристическая черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда ее» (4; 121). Вот важнейшее из открытий: чувство справедливости составляет живой корень народной этики! «Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков – и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал» (4; 121–122).

Сюжет «Записок из Мертвого дома» – постепенное познание русского народа, приближение к нему, а в связи с этим трансформация самого рассказчика. Ему становится как-то легче переживать все эти неудобства, тяготы, и он находит возможность даже примириться, как он пишет, с этой жизнью, вернее, не примириться, но «признать за совершившийся факт».

Мудрость терпения приходит к повествователю от того самого, поначалу столь ненавистного, народа. «Я знал свое место на нарах и даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть» (4; 78). В другом месте: «до какой чудовищной степени приживчив человек!» (4; 56). Эту мысль потом мы встретим в «Преступлении и наказании», в пренебрежительной фразе юного максималиста Раскольникова: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» (6; 25). Горянчиков-Достоевский предлагает ту же мысль в несколько иной огласовке: «Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение» (4; 10). Здесь есть, конечно, доля горькой иронии и даже сарказма, но есть и парадоксальная народная мудрость жизни, которую с таким трудом познает повествователь.

Здесь он подает руку А. И. Солженицыну, у которого в «Одном дне Ивана Денисовича» герой не выживает, а именно живет полнокровно и полноценно несмотря ни на что[6]. А в конце рассказа говорится, что описан один из счастливых дней его жизни на каторге. Счастливых – на каторге! Счастье – в самой жизни больше, чем в условиях ее, не в этом ли искомая истина, выжитая народом веками его истории?

Чудо преображения автора на путях познания своего народа происходит на метафизической глубине текста «Записок из Мертвого дома»; наглядно показано, как человек может остаться человеком в нечеловеческих условиях. Лев Толстой считал, что это лучшая книга, написанная во всей русской литературе, а может быть, даже и в мировой, и он подчеркивал, что самое ценное в ней – это именно точка зрения, то постижение народного духа, через которое проходит повествователь.

---

[6] «Записки из Мертвого дома», как верно замечает современный исследователь, «это история не выживания, а жизни в условиях Мертвого дома» (Акелькина Е. А. «Записки из Мертвого дома» // Достоевский: сочинения, письма, документы: словарь-справочник / сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб., 2008. С. 75).

Через два десятилетия на закате жизни Достоевский еще раз вернулся к осознанию происшедшего с ним «геологического переворота» и передал его смысл в сжатой до предела новеллистической форме рассказа «Мужик Марей». Замечательно здесь и то, что вновь сошлись вместе два главных опыта народознания писателя – деревня детства и каторга. Важно также понять, что без первого опыта не было бы и *такого* второго, как без фундамента нет здания. «Эти воспоминания [деревенского детства], – признается Достоевский, – дали мне возможность пережить в каторге» (24; 107), т. е. пройти тот спасительный путь познания, о котором мы говорили. Он сочувствует полякам, у которых не было такого же фундамента, и им оставалось только ненавидеть эту «дикую орду».

***

Народ навсегда остался большой темой Достоевского, она пунктирно проходит и через его «великое пятикнижие». В «Преступлении и наказании» это Миколка с его идеей пострадать, но там есть другой Миколка, что забивает савраску под улюлюканье толпы (детское воспоминание Раскольникова – не отзвук ли авторской памяти детства?). Под издевки пьяниц рассказывает свою жизнь Мармеладов, насмешки толпы остужают коленопреклонение Раскольникова на площади, наконец, каторжники в эпилоге не приемлют нашего героя, но зато боготворят Сонечку.

В «Идиоте» это рассказы Мышкина об уличных встречах: о пьяном солдате, продавшем нательный крест, о простой бабе, высказавшей глубочайшую мысль о Боге как об отце. В «Бесах» Степан Трофимович выходит на большую дорогу (недостижимый Спасов на его пути – не криптограмма ли Дарового) и соприкасается с народом, но в романе есть и другое – Федька Каторжный, кутеж народный, пожары, самосуд толпы. В «Подростке» носителем народного правдоискательства выступает странник Макар Иванович (деревня детства проникает и в этот роман). В «Дневнике писателя» приближения Достоевского к народной сути – «Влас», «Мужик Марей», «Столетняя», воспоминание о

сгоревшем имении и сердечном движении Алены Фроловны, путешествие в неназванное Даровое... В «Братьях Карамазовых» это народ в келье старца Зосимы, мужички-присяжные, засудившие Дмитрия, местная юродивая[7] или вот, скажем, выход в народ Коли Красоткина, описанный с большим юмором, как можно раздразнить народную глупость и как вдруг среди глупцов обнаруживаются умники. Народ есть и в поэме о Великом инквизиторе: Тот, Кто печалится о народе, народом и предан. Во всех романах мы наблюдаем такие вот вроде периферийные народные сценки, которые образуют смысловой контекст основного действия.

В очерке «Влас» («Дневник писателя» 1873 года) Достоевский рисует двух нигилистов из народа, готовых на кощунственную провокацию. Достоевский обнаруживает в этих героях склонность русского человека «к самоотрицанию и саморазрушению». Это черта народного характера. «Но зато, – говорит дальше Достоевский, – с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда» (21, 35).

Финал «Власа» оставляет надежду несмотря на то, что народ, судя по всему, закутил, и о нем рассказывают всякие ужасы, реальные ужасы (пьянство, разбой, пьяные матери, пьяные дети, цинизм, нищета, бесчестие, безбожие), и в то же время Достоевский рассчитывает вот на эту последнюю черту. На ней строится и сюжет некрасовского «Власа», и сюжет одноименного очерка Достоевского. «В последний момент, – говорит он, – вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды» (21; 41). Это 1873 год, «до беды» осталось 44 года.

---

[7] «Читая впоследствии в романе брата, Федора Михайловича, “Братья Карамазовы” историю Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминал нашу [даровскую] дурочку Аграфену» (Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930. С. 63).

Самое распространенное обвинение оппонентов в адрес Достоевского – утопизм, идеализация народа. Однако мы уже видели (и эти примеры можно умножить), что писатель прекрасно, не хуже своих противников, знал слабости и грехи простонародной массы, предвидел и возможные сценарии, в которых они могут сыграть роковую роль. Однако это знание не разрушало в нем веры, основанной на соприкосновении с теми началами народной психеи, которых не замечают либеральные скептики. Самому авторитетному из них, К. Д. Кавелину (в ответ на его «Письмо Ф. М. Достоевскому» в ноябрьском «Вестнике Европы» 1880 года) Достоевский готовил, но не успел завершить обстоятельный ответ. В черновых набросках писатель иногда не сдерживает эмоций, понимая, что его всё равно не услышат: «Да когда кончатся наконец эти барины (свысока на народ). <…> отрицаете духовные свойства русского народа. Вы никогда не видали красного цвета, а я вам буду говорить о нем» (27; 55).

Главный аргумент Достоевского, терпеливо повторяемый: надо судить народ «не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает» (22, 43).

Что это за «великие и святые вещи»? В «Записках из Мертвого дома», напомним, Достоевский говорит, что высшая и самая резкая черта нашего народа – чувство справедливости. А потом, чуть позже, в статье «Книжность и грамотность» он напишет, что особенность русского народа – «бессознательная и чрезвычайная стойкость в своей идее, <…> ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду» (19; 18). Через 20 лет после этого в «Дневнике писателя» 1881 года Достоевский заговорит о том, что необходимо «оздоровление этого великого корня, который есть начало всему. Да, он духовно болен, о, не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. <…> Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и всё не находит» (27; 16). В «Братьях Карамазовых» старец Зосима произнесет вещие слова:

«Берегите же народ и оберегайте сердце его <…> ибо сей народ – богоносец» (14; 285).

В «Дневнике писателя» 1881 года вновь провозглашается идея сбережения народа, которая когда-то, еще в XVIII веке, в елизаветинские и екатерининские времена, была высказана Петром Ивановичем Шуваловым и дошла до наших дней, до степени «национальной идеи», как ее сформулировал А. И. Солженицын.

Но что такое «народ-богоносец», вот это выражение, которое давно уже на всех ветрах треплется и поносится? Один из героев Набокова в «Машеньке» говорит: «Богоносец оказался серой сволочью». Нечто похожее мы слышим в «Белой гвардии», в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова. Николай Бердяев в 1918 году на страницах веховского сборника «Из глубины» решительно заявляет: «Народопоклонство Достоевского потерпело крах в русской революции»[8]. Полномочным представителем «массы народной», по Бердяеву, оказался Смердяков, он же и «осуществляет» «атеистическую революцию»[9].

Эту проблему обсуждают и герои «Современных диалогов» Сергея Булгакова, которые назывались «На пиру богов. Pro и contra». Это тоже 1918 год и тот же сборник «Из глубины» (статья Булгакова напечатана здесь следом за статьей Бердяева, создавая своеобразный контрапункт разошедшихся сотоварищей). Один из участников этих диалогов, Дипломат – там все герои

---

[8] Бердяев Н. А. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1991. С. 78. Еще раньше напуганный первой русской революцией и открывшимся образом «зверя» в народе, Д. С. Мережковский ничтоже сумняшеся уличил Достоевского: «…в соблазнительном учении о новом Израиле, русском народе-богоносце, в учении о народобожестве, которое есть скрытое человекобожество: делать Богом народ <…> – такое же отступление от истинного Бога, как делать человека Богом» (Мережковский Д. С. Пророк русской революции. К юбилею Достоевского // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990. С. 100).

[9] Бердяев Н. А. Духи русской революции. С. 75–76. Эта мысль Бердяева получила развитие в предложенной В. Кантором программе «растождествления» европоцентричной русской интеллигенции со смердяковщиной, кою несет в себе «мужик, смерд – в его грядущем непременном развитии» (Кантор В. Русский европеец как явление культуры. Философско-исторический анализ. М., 2001. С. 452). Исследователь смело (впрочем, снова припомним Д. С. Мережковского) подвергает деконструкции самые заветные убеждения писателя. «За истовой верой в народ, – полагает В. Кантор, – стояло у Достоевского сомнение и тайное неверие» (там же, с. 461).

называются не по именам, а по их профессии, – говорит примерно то же, что Бердяев: Достоевский был «роковой для России человек <…>, это он богоносца-то сочинил. А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет святого, кроме брюха»[10]. Тем не менее Дипломату возражает Писатель: «Не знал он, что ли [Достоевский], звериного образа, злодея и кощунника в русском народе? Знал отлично, но он ему не верил, потому что созерцал иную реальность»[11]. Общественный деятель – еще один участник диалога – смущен и не может понять, как Достоевский мог так замечтаться, как мог сказать такое: «Пусть в нашем народе зверство и грех, но в своем целом он никогда не принимает своего греха за правду»[12].

И Писатель – это явно такой автобиографический герой Булгакова – находит силы победить сомнения «в минуты роковые»: «Отвечу вам без всякого лукавства и уклончивости. Верую и исповедую, как и раньше, что идеал у народа Христос, иного у него нет. И когда по грехам и слабости своей он об этом забывает, то сразу оказывается зверем, сидящим во тьме и сени смертной. <…> Но верую, как и прежде, что через русский народ придет спасение миру, что ему предлежит не только великое будущее, но и решающее слово в судьбах мира. Верую и в святую богоносную русскую землю, хотя и поруганную и оскверненную братской кровью, но хранящую святыни русские»[13]. Вот слова, которые сказаны в разгар революции, начала Гражданской войны. Хочется надеяться (среди новых толков: «народ закончился, осталось население»), что в этом споре «на пиру богов» был прав Писатель.

---

[10] Булгаков С. Н. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги // Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 589.
[11] Там же. С. 592.
[12] Там же. С. 592. Неточно цитируется «Дневник писателя» за 1880 год (26; 152).
[13] Булгаков С. Н. На пиру богов. С. 592–593.